

Грин Александр

Рассказы 1907-1912

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Грин Александр

Рассказы 1907-1912 / Грин Александр – М.: Книга по Требованию, 2011. – 338 с.

ISBN 978-5-4241-3003-8

Неистовый мечтатель Александр Грин - признанный мастер сюжета. Его книги отличает смелый полет фантазии - с высоким отрывом от бескрылой действительности. В своих рассказах он рисует страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав, где в разноязычном шуме гаваней собираются золотоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, но прежде всего - моряки. Грин повествует о мужестве этих вечных тружеников, о могуществе природы и особенно бережно и взволнованно - о любви.

ISBN 978-5-4241-3003-8

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Александр Степанович Грин
Собрание сочинений в шести
томах
Том 1. Рассказы 1907-1912

В.С. Вихров. Рыцарь мечты

*Мечта разыскивает путь, -
Закреты все пути;
Мечта разыскивает путь, -
Намечены пути;
Мечта разыскивает путь, -
Открыты ВСЕ пути.
А.С. Грин “Движение”. 1919.*

1

С первых шагов Грина в литературе вокруг его имени стали складываться легенды. Были среди них безобидные. Уверяли, например, что Грин — отличный стрелок из лука, в молодости он добывал себе пищу охотой и жил в лесу на манер куперовского следопыта... Но ходили легенды и злостные.

Свою последнюю книгу, “Автобиографическую повесть” (1931), законченную в Старом Крыму, Грин намеревался предварить коротким предисловием, которое он так и озаглавил: “Легенда о Грине”. Предисловие было написано, но не вошло в книгу, и сохранился от него лишь отрывок.

“С 1906 по 1930 год, — писал Грин, — я услышал от собратьев по перу столько удивительных сообщений о себе самом, что начал сомневаться — действительно ли я жил так, как у меня здесь (в “Автобиографической повести”. — В.В.) написано. Судите сами, есть ли основание назвать этот рассказ “Легендой о Грине”.

Я буду перечислять слышанное так, как если бы говорил от себя.

Плаваая матросом где-то около Зурбагана, Лисса и Сан-Риоля, Грин убил английского капитана, захватив ящик рукописей, написанных этим англичанином...

“Человек с планом”, по удачному выражению Петра Пильского, Грин притворяется, что не знает языков, он хорошо знает их...”

Собратья по перу и досужие газетчики, вроде желтого журналиста Петра Пильского, изощрялись, как могли, в самых нелепых выдумках о “загадном” писателе.

Грина раздражали эти небылицы, они мешали ему жить, и он не раз пытался от них отбиться. Еще в десятых годах во вступлении к одной из своих повестей писатель иронически пересказывал версию об английском капитане и его рукописях, которую по секрету распространял в литературных кругах некий беллетрист. “Никто не мог бы поверить этому, — писал Грин. — Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги...”

Горька ирония этих строк!

Правда, что жизнь писателя была полна странствий и приключений, но ничего загадочного, ничего легендарного в ней нет. Можно даже сказать так: путь Грина был обычным, протоптанным, во многих своих приметах типичным жизненным путем писателя “из народа”. Совсем не случайно некоторые эпизоды

его “Автобиографической повести” так живо напоминают горьковские страницы из “Моих университетов” и “В людях”.

Жизнь Грина была тяжела и драматична; она вся в тычках, вся в столкновениях со свинцовыми мерзостями царской России, и, когда читаешь “Автобиографическую повесть”, эту исповедь пострадавшей души, с трудом, лишь под давлением фактов, веришь, что та же рука писала заражающие своим жизненным рассказом о морях и путешественниках, “Алые паруса”, “Блестящий мир”... Ведь жизнь, кажется, сделала все, чтобы очерствить, ожесточить сердце, смять и развеять романтические идеалы, убить веру во все лучшее и светлое.

Александр Степанович Гринецкий (Грин — его литературный псевдоним¹) родился 23 августа 1880 года в Слободском, уездном городке Вятской губернии, в семье “вечного поселенца”, конторщика пивоваренного завода. Вскоре после рождения сына семья Гринецких переехала в Вятку. Там и прошли годы детства и юности будущего писателя. Город дремучего невежества и классического лихонства, так красочно описанный в “Былом и думах”, Вятка к девятидесятым годам мало в чем изменилась с той поры, как отбывал в ней ссылку Герцен.

“Удушливая пустота и немота”, о которых писал он, царили в Вятке и в те времена, когда по ее окраинным пустырям бродил смуглый мальчуган в серой заплатанной блузе, в уединении изображавший капитана Гаттераса и Благородное Сердце. Мальчик слыл странным. В школе его звали “колдуном”. Он пытался открыть “философский камень” и производил всякие алхимические опыты, а начитавшись книги “Тайны руки”, принялся предсказывать всем будущее по линиям ладони. Домашние попрекали его книгами, бранили за своеволие, взывали к здравому смыслу. Грин говорил, что разговоры о “здравом смысле” приводили его в трепет сызмальства и что из Некрасова он тверже всего помнил “Песню Еремушке” с ее гневными строчками:

— В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

“Пошлый опыт”, который некрасовская нянечка вдальбливает в голову Еремушке (“Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить”...), вдальбливали и Грину. Очень похожую песню певала ему мать.

“Я не знал нормального детства, — писал Грин в своей “Автобиографической повести”. — Меня в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение, звали “свинопасом”, “золоторотцем”, прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих. Уже больная, измученная домашней работой мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане ни гроша,
И в неволе —
Поневолу —
Заганцуешь антраша!
... .

Философствуй тут как знаешь
Иль как хочешь рассуждай,
А в неволе —

Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее...”

Жутко читать эти строки. Но так было...

Грина потрясала чеховская “Моя жизнь” со все решительно объясняющим ему подзаголовком “Рассказ провинциала”. Грин считал, что этот рассказ лучше всего передает атмосферу провинциального быта 90-х годов, быта глухого города. “Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке”, — говорил писатель. Многие из биографии провинциала Мисаила Полознева, вознамерившегося жить “не так, как все”, было уже ведомо, было выстрадано Грином. И в этом нет ничего удивительного. Чехов запечатлел приметы эпохи, а юноша Гриневский был ее сыном. Интересно в этом отношении признание писателя о своих ранних литературных опытах.

“Иногда я писал стихи и посылал их в “Ниву”, “Родину”, никогда не получая ответа от редакций, — рассказывал Грин. — Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве, — точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик...”

Можно вполне поверить, что юный поэт писал стихи, отгалкиваясь более всего от стихов же, невольно подражая тому, что обычно печаталось. Однако и жизненная обстановка, его окружавшая, тоже была типично “чеховская”, рано старящая душу. В удушливой пустоте и немоте вятского быта легко рождались стихи о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве.

Юноша искал спасения в другой, “томительно желанной им действительности”: в книгах, лесной охоте. С отроческих лет он знал уже не только Фенимора Купера, Майн Рида, Густава Эмара и Луи Жаколио, но и всех русских классиков. Увлекался романами Виктора Гюго и Диккенса, стихами и новеллами Эдгара По, читал научные книги. Но что более всего манило мальчика, о чем он мечтал упорно и страстно, — так это море, “живописный труд мореплавания”. Кто скажет, как зарождались эти грезы о вольном ветре, о синих просторах и белых парусах в душе мальчугана, возраставшего в сухопутной глухой Вятке, откуда, как говорится, хоть три года скачи, ни до какого моря не доскачешь? Легко догадаться, что свою роль тут сыграли книги Жюль Верна, Стивенсона, морские рассказы Станюковича, как раз тогда печатавшиеся в газетах и журналах. Впрочем, вот другой пример. Новиков-Прибой, как известно, родился и рос тоже не у моря, а в медвежьем углу Тамбовщины, где чуть ли не единственной книгой был псалтырь. Но о море, морской службе мальчик Новиков мечтал столь же страстно и целеустремленно. И в конце концов он добился своего: пошел не в монастырские службы, как того желали родители, а на флот.

Книги книгами, но юные сердца часто поворачивает сама жизнь, сила живого примера. Судьбу будущего автора “Соленой купели” и “Цусимы” повернул тот веселый, ни бога, ни черта не боящийся матрос, что однажды встретился деревенскому мальчишке на лесной тамбовской дороге. Новиков-Прибой описал этот случай в автобиографическом рассказе, который так и назван — “Судьба”.

Судьбу Грина поворачивали не только книги. Во “флотчиках”, изредка появлявшихся в городе, вятские обыватели видели опасных смутьянов, нарушителей

спокойствия. Именно это и тянуло к ним романтически настроенного юношу. Уже в самой невиданно белоснежной форме, в бескозырке с лентами, в полосатой тельняшке чудился ему вызов всему сонному, неподвижному, заскорузлomu, “вятскому”. Грин рассказывает в автобиографии, что, увидев впервые на вятской пристани двух настоящих матросов, штурманских учеников — на ленте у одного было написано “Очаков”, на ленте у другого — “Севастополь”, — он остановился и смотрел как зачарованный на гостей из иного, таинственного и прекрасного мира. “Я не завидовал, — пишет Грин. — Я испытывал восхищение и тоску”.

Летом 1896 года, тотчас же после окончания городского училища, Грин уехал в Одессу, захватив с собой лишь ивовую корзинку со сменой белья да акварельные краски, полагая, что рисовать он будет “где-нибудь в Индии, на берегах Ганга...” Весьма показательная для характера Грина деталь! Рассказав в своей “Автобиографической повести” про то, как он, забывая обо всем на свете, упивался книгами, героической многокрасочной жизнью в тропических странах, писатель иронически добавляет: “Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать места матроса на пароходе”. Мальчик из Вятки, отправляющийся на берега Ганга в болотных сапогах до бедер и соломенной “поповской” шляпе, с базарной кошелкой и набором акварельных красок под мышкой, — и в самом деле представлял собою фигуру живописную. Познания, почерпнутые из книг, причудливо переплетались в его юной голове с самыми странными “вятскими” представлениями о действительности. Он был уверен, например, в том, что ступеньки железнодорожного вагона предназначены для того, чтобы поезд на них, как на полозьях, ходил по снегу; паровоз, который он впервые увидел во время своего путешествия в Одессу, показался ему маленьким, невзрачным, — он представлял его с колокольню высотой. Жизнь надо было познавать как бы заново. И тяжки были ее уроки.

Оказалось, что “Ганг” в Одессе так же недостижим, как и в Вятке. Поступить на пароход даже каботажного плавания было непросто. И тут требовались деньги, причем немалые, чтобы оплачивать харчи и обучение. Бесплатно учеников на корабли не брали, а Грин явился в Одессу с шестью рублями в кармане.

Удивляться надо не житейской неопытности Грина, не тем передрягам, которые претерпевает шестнадцатилетний мечтатель, попавший из провинциальной глухомани в шумный портовый город, а тому поистине фанатическому упорству, с каким пробивался он к своей мечте — в море, в матросы. Худенький, узкоплечий, он закалял себя самыми варварскими средствами, учился плавать за волно-резом, где и опытные пловцы, бывало, тонули, разбивались о балки, о камни. Голодный, оборванный, он в поисках “вакансии” неотступно обходил все стоящие в гавани баржи, шхуны, пароходы. И порой добивался своего. Первый раз он плывал на транспортном судне “Платон”, совершавшем круговые рейсы по черноморским портам. Тогда он впервые увидел берега Кавказа и Крыма.

Дореволюционные газетчики, строя догадки, утверждали, что автор “Острова Рено” и “Капитана Дюка” — старый морской волк, который обошел все моря и океаны. На самом же деле Грин плывал матросом совсем недолго, а в заграничном порту был один-единственный раз. После первого или второго рейса его обычно списывали. Чаще всего за непокорный нрав.

Не только в книгах, но и в жизни искал юноша необычного, “живописного”, героического. А если не находил, то... выдумывал. Очень характерные в этом

смысле эпизоды приводит Грин в одном автобиографическом очерке.

“Когда еще юношей я попал в Александрию, — пишет он, — служба матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Доде, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолов несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала: “Селям алейкум”. Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным матросам — я не знаю до сих пор.

Равным образом, когда по возвращении с Урала отец спрашивал меня, что я там делал, я преподнес ему “творимую легенду” приблизительно в таком виде: примкнул к разбойникам... Затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости. Иногда, поглядывая на меня, он внушительно повторял: “Да-да. Не знаю, что из тебя выйдет”.

В оправдание этих “творимых легенд” можно сказать лишь то, что мыл золото и ходил в плаванье матросом “на все” шестнадцатилетний мальчик-фантазер. Жажда необычного, громкого, далекого от “тихих будней” окурковской Руси, изведанных им сполна, вела его по каменистым дорогам, бросала на горячие пески, манила в чащи лесов, казавшиеся таинственными... Скитаясь по России, он перепробовал самые различные профессии. Грузчик и матрос “из милости” на случайных пароходах и парусниках в Одессе, банщик на станции Мураши, землекоп, маляр, рыбак, гасильщик нефтяных пожаров в Баку, снова матрос на волжской барже пароходства Булычов и К°, лесоруб и плотогон на Урале, золотоискатель, переписчик ролей и актер “на выходах”, пиисец у адвоката. Впоследствии Грин вспоминал, что он “в старые времена... в качестве “пожирателя шпаг” ходил из Саратова в Самару, из Самары в Тамбов и так далее”. Если даже “пожиратель шпаг” — метафора, то метафора эта красноречива, она выбрана не случайно. Его хождение в люди само напоминает легенду, в которой физически слабый человек обретает богатырскую силу в мечте, в неизбывной вере в чудесное.

Весной 1902 года юноша очутился в Пензе, в царской казарме. Сохранилось одно казенное описание его наружности той поры. Такие данные, между прочим, приводятся в описании:

Рост — 177,4.

Глаза — светло-карие.

Волосы — светло-русые.

Особые приметы: на груди татуировка, изображающая шхуну с бушпритом и фок-мачтой, несущей два паруса...

Искатель чудесного, бредящий морем и парусами, попадает в 213-й Оровайский резервный пехотный батальон, где царили самые жестокие нравы. Через

четыре месяца “рядовой Александр Степанович Гриневский” бежит из батальона, несколько дней скрывается в лесу, но его ловят и приговаривают к трехнедельному строгому аресту “на хлебе и воде”.

Строптивного солдата примечает некий вольноопределяющийся и принимается усердно снабжать его эсеровскими листовками и брошюрами. Грина тянуло на волю, и его романтическое воображение пленила сама жизнь “нелегального”, полная тайн и опасностей.

Пензенские эсеры помогли ему бежать из батальона вторично, снабдили фальшивым паспортом и переправили в Киев. Оттуда он перебрался в Одессу, а затем в Севастополь. Хочется привести несколько строчек из “Автобиографической повести”, строчек, очень характерных для Грина, для его отношения к своей нелегальной деятельности. С явочным паролем “Петр Иванович кланялся”, с чужим паспортом на имя Григорьева приезжает Грин в Одессу для делового свидания с эсером Геккером:

“Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя “Петр Иванович кланялся”. Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета. Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры — предложения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального “Алексея Длинновязого” (кличка, которой окрестил меня “Валериан” — Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики...”

Грин оставался тем же фантазером, каким он был, когда рассказывал матросам о своих небывалых приключениях в египетской Александрии или отцу о похождениях на золотых приисках Урала. Понятно, пропагандистская деятельность Грина в Севастополе никак не походила на “детскую игру”. За эту “игру” он поплатился тюрьмой и ссылкой. И, однако, оттенок иронии сквозит каждый раз, как только он заговаривает в своей повести о барышне “Киске”, игравшей главную роль в севастопольской организации. “Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя”, — насмешливо отмечает писатель. Об учителе он прямо говорит, что тот был краснобаем, ничего революционного не делал, а только пугал всех тем, что при встречах на улице громко возглашал: “Надо бросить бомбу!”

В противовес эсеровским краснобаям встает в повести фигура матросского вожака, сормовского рабочего, которого называли Спартак. “На какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы”, — замечает Грин. Спартак пошел в сторону социал-демократов. С гордостью вспоминает писатель о тех четырех рабочих социал-демократах, что при объявлении амнистии в октябре 1905 года решительно отказались выходить из тюрьмы, пока не выпустят на свободу “студента”, то есть Грина.

“Адмирал согласился освободить всех, кроме меня, — пишет Грин. — Тогда четыре рабочих с.-д., не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей камере, и никакие упрашивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму”.

Имя Гриневского достигло высших петербургских сфер. Военный министр Куропаткин 19 января 1904 года доносил министру внутренних дел Плеве, что в

Севастополе был задержан “весьма важный деятель из гражданских лиц, назвавший себя сперва Григорьевым, а затем Гриневским...”

В архивах найдены и частично опубликованы материалы судебных дел Грина. Они уточняют некоторые факты, известные нам по “Автобиографической повести”. Например, в ее заключительной главе, “Севастополь”, Грин писал, что при аресте 11 ноября 1903 года он отказался давать показания: “единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я беглый солдат...” Протоколы допросов сохранились, и из них явствует, что ни на первом, ни на втором допросе Грин не называл своего настоящего имени, он “упорно отказывался открыть свое имя и звание”, пытался бежать из тюрьмы, сидел в карцере, объявил голодовку (“...перестал принимать пищу и добровольно голодал в течение 4-х суток”, — так доносили об этом начальству тюремщики). “В общем, поведение Григорьева было вызывающим и угрожающим”, — сокрушено заключал один из протоколов допроса помощник прокурора.

Небезынтересен список литературы, изъятой полицией при обыске сева­стопольской квартиры Грина; среди книг были социал-демократические издания: “Бebelь против Бернштейна”, “Политический строй и рабочие”, “Борьба ростовских рабочих с царским правительством” и другие. Грин, как и его друг, матросский вожак Спартак, искал истину... “Отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму: “Поддай прошение о помиловании”. Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так”, — писал Грин. В следственных бумагах имеется существенное дополнение к этим строкам. Не так прост был старик Гриневский. Вятские жандармы сообщили в Севастополь, что отец Гриневского на допросах дает “уклончивые ответы” и надежды на него “не оправдались”.

После освобождения из сева­стопольского каземата Грин уезжает в Петербург и там вскоре опять попадает в тюрьму. Полиция спешно хватала всех “амнистированных” и без суда и следствия отправляла их в ссылку. Грина ссылают на четыре года в г. Туринск, Тобольской губернии. Но уже на другой день после прибытия туда “этапным порядком” Грин бежит из ссылки и добирается до Вятки. Отец достает ему паспорт недавно умершего в больнице “личного почетного гражданина” А.А.Мальгинова; с этим паспортом Грин возвращается в Петербург; чтобы спустя несколько лет, в 1910 году, опять отправиться в ссылку, на этот раз в Архангельскую губернию. Тюрьмы, ссылки, вечная нужда... Недаром говорил Грин, что его жизненный путь был усыпан не розами, а гвоздями...

Отец рассчитывал, что из его старшего сына — в нем учителя видели завидные способности! — выйдет непременно инженер или доктор, потом он соглашался уже на чиновника, на худой конец, на писаря, жил бы только “как все”, бросил бы “фантазии”... Из его сына вышел писатель, “сказочник странный”, как назвал его поэт Виссарион Саянов.

Читая автобиографические произведения писателей, пробывавшихся в те времена в литературу из “низов”, нельзя не уловить в них одной общей особенности: талант, поэтический огонек часто замечали в юной душе не записные литераторы, а простые, добрые души, какие встречаются человеку на самом тяжком жизненном пути. На гриновском пути тоже встречались те добрые души. С особой любовью вспоминал Грин об уральском богатыре-лесорубе Илье, который обучал его премудростям валки леса, а зимними вечерами заставлял рас-

сказывать сказки. Жили они вдвоем в бревенчатой хижине под старым кедром. Кругом дремучая чащоба, непроходимый снег, волчий вой, ветер гудит в трубе печурки... За две недели Грин исчерпал весь свой богатый запас сказок Перро, братьев Гримм, Андерсена, Афанасьева и принялся импровизировать, сочинять сказки сам, воодушевляясь восхищением своей “постоянной аудитории”. И, кто знает, может быть, там, в лесной хижине, под вековым кедром, у веселого огня печурки, и родился писатель Грин, автор сказочных “Алых парусов”? Ведь юному таланту важно, чтобы в него поверили, а лесоруб Илья верил сказкам Грина, восхищался ими.

В статье “О том, как я учился писать” Горький приводит письмо одной своей юной корреспондентки, которая наивно сообщала ему, что у нее появился писательский талант, причиной которого послужила “томительно бедная жизнь”. Горький замечает по поводу этих строк, что пока это, конечно, еще не талант, а лишь желание писать, но если бы у его корреспондентки действительно появился талант, — “она, вероятно, писала бы так называемые “романтические” вещи, старалась бы обогатить “томительно бедную жизнь” красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть...” Вряд ли можно сомневаться в том, что желание писать появилось у Грина по той же причине, какая была у горьковской юной корреспондентки. Грин стремился обогатить, украсить “томительно бедную жизнь” своими “красивыми выдумками”.

Но так ли уж далеки его романтические вымыслы от реальности, от жизни? Герои рассказа Грина “Акварель” — безработный пароходный кочегар Классон и его жена прачка Бетси — нечаянно попадают в картинную галерею, где обнаруживают этюд, на котором, к их глубокому изумлению, они узнают свой дом, свое неказистое жилище. Дорожка, крыльцо, кирпичная стена, поросшая плющом, окна, ветки клена и дуба, между которыми Бетси протягивала веревки, — все было на картине то же самое... Художник лишь бросил на листву, на дорожку полосы света, подцветил крыльцо, окна, кирпичную стену красками раннего утра, и кочегар и прачка увидели свой дом новыми, просветленными глазами: “Они оглядывались с гордым видом, страшно жалея, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. “Снимаем второй год”, — мелькнуло у них. Классон выпрямился. Бетси запахнула на истощенной груди платок...” Картина неведомого художника расправила их скомканные жизнью души, “выпрямила” их.

Гриновская “Акварель” вызывает в памяти знаменитый очерк Глеба Успенского “Выпрямила”, в котором статуя Венеры Милосской, однажды увиденная сельским учителем Тяпушкиным, озаряет его темную и бедную жизнь, дает ему “счастье ощущать себя человеком”. Это ощущение счастья от соприкосновения с искусством, с хорошей книгой испытывают многие герои произведений Грина. Вспомним, что для мальчика Грэя из “Алых парусов” картина, изображающая бушующее море, была “тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя”. А небольшая акварель — безлюдная дорога среди холмов, — названная “Дорогой никуда”, поражает Тиррея Давенанта. Юноша, полный радужных надежд, противится впечатлению, хотя зловещая акварель и “притягивает, как колодец”... Как искра из темного камня, высекается мысль: найти дорогу, которая вела бы не никуда, а “сюда”, к счастью, что в ту минуту прирезилось Тиррею.